



Юхан СМУУЛ

МОНОЛОГ ЭРНИ: ТЕЛЯЧЬИ КРЕСТИНЫ, ИЛИ КАК ЭТО ПОСТАВИТЬ НА СЦЕНЕ

«Монологи» — так называется новый цикл рассказов Юхана Смуула. Объединены они не сюжетом, а сказовой манерой изложения. Имена рассказчиков вынесены в заголовки рассказов.

Таков и публикуемый сегодня монолог Эрни, колхозника с острова Муху. В рассказе выведен Вольдемар Пансо, популярный в Эстонии театральный режиссер.

НОЧЬ БЫЛА — красота. Небо было ясное, и рожи колосились, и лисица через дорогу перебежала. Мы с Волли Пансо шли с телячьих крестин. Пансо все спрашивал, а я все отвечал.

Увидели мы — лисица через дорогу бежит, и тут вспомнился мне мой охотничий пес Жулик, — хорошо, бродяга, лисиц травил, а потом вдруг пропал без вести. Погнался лисицу по морю, по льду, добегал до самого Хийу, до Кассари, а хийумцы потом болтали, будто с Муху забрал к ним большой волк. Даже вызвали из Таллина пятьсот пятьдесят охотников — и все через моего Жулика.

Тут Пансо встал и стоит. До него только и дошло, что кто-то без вести пропал. Сорвал он валик — он ведь из друзей природы, есть такое общество, он даже членские взносы платит — сунул валик в петлю и говорит: «Ты только подумай, Эрнст, как это грустно звучит: «пропавший без вести»! Всего три слова, а печали в них, как в погасшей звезде». А сам серьезный-серьезный. Ну, я ему и говорю, что звучит оно, конечно, печально, потому как слова больно печальные. Во время первой мировой войны у нас на Муху четырнадцать человек пропало без вести и во время второй тоже кое-кто пропал: война — это война. Только между первой и второй войной у нас их вдвое больше пропало. Тут Пансо и спрашивает, как это так, чтобы в мирное время люди без вести пропадали. А я ему и объясняю, что все это через пиво. Иной, понимаешь, хочет, чтобы дух у пива был крепче, и забивает бочку слишком рано. И когда будет в бочке все полста атмосфер, тут уж и дубовые доски не помогут, будь они хоть двухдвойной толщины: близко и не суйся! Только подступишься к затычке, тебя так и припечатает к стенке вместе с затычкой. А уж если слу-

чусь кто рядом, когда бочку вовсе разорвет, то считай — пропал человек без вести. Точно. Ладно, хоть трубку на камнях в парной найдут, а сам пивовар в трубу вылетит. Потолок весь выбьет, да еще и стропила выломит.

Тут хватает Пансо свою черную записную книжечку и спрашивает. Дескать, растолкуй, Эрнст, поточнее, кто, где и как. А я и говорю, что поточнее нельзя, потому как дело больно печальное и никто этих пропавших без вести не считал.

Сел Пансо на камень, стиснул вот таким манером свой череп, думал-думал, а потом и говорит: — Я про то думаю, Эрнст, как это на сцене поставить? Как?

Я ему говорю, чтоб он дурака не валял. Я в театре тоже понимаю, всякие видел. Не дай бог на сцене такая бочка лопнет, так считай три первых ряда без вести пропадут, там ведь и бригадиры будут сидеть, и председатели колхозов, да и сам Пансо тоже. И кто на сцене окажется, тем тоже амба. Это точно. Знаю я этих актеров. Мастера чужими голосами говорить, — глядишь на них и видишь: ну, в точности такое самое было, а только не скажешь где. Конечно, когда дело и серьезно идет, когда молодые одни остаются и целоваться начинают, тут сразу занавес дают. Совсем, как у людей. Так и бочка эта должна быть всамделишная, и разрывать ее должно по-настоящему, а сколько же на это дело актеров уйдет?

В точности так я Пансо и сказал. А он все трет свой череп и повторяет: — Как это поставить, Эрнст? Как?

А ходили мы, значит, на телячьи крестины. Не то чтоб они совсем телята были — уж рослые такие телки и бычки, их на откорм к нам в деревню прислали. Уже с именами прислали, только имена эти не понравились нашей Сальме, что с ними нянчится. Некрасивые, говорит, скучные и всякое такое. Послушать, как эта Сальме с телятами разговаривает, так можно подумать, будто у всех у них над холкой крылышки, а над рогами — сияние. А они только и знают, что шкодить, и никого, кроме Сальме, не признают.

И, стало быть, мы втроем — Сальме, Пансо и я — устроили им крестины. Я их всех выводил

поодиночке вперед, представлял публике, словно послов каких, и Сальме давала имена телкам, а Пансо — бычкам. Все они были рыжие, и разобравшись, где мальчики, где девочки, могла только Сальме. Краснушку мы окрестили Фиалкой. Лору переделали в Петунью, а потом пошли Настурция, Ромашка, Резеда, Акация и Сирень. Одну Гвоздикой назвали. Смех: телка — и Гвоздика. Одна там была с такой печальной мордой, будто у нее смех украли, будто она в дурака проиграла и под столом сидела, а Пансо, не поглядев на то, что телок ему крестить было не положено, велел назвать ее Разбитое Сердце. Также еще роза выискалась! Только Сальме ему сказала, что нечего над животным насмехаться, и назвала телку Незабудкой.

Теперь уж и не упомню всех этих цветов, какие тогда в ход пошли. А когда все цветы кончились, пришлось назвать одну телку Печалью. Она тоже была рыжая, но с чернотой, словно дегтярь. Так и зыркала по сторонам, чего бы отколоть. Сальме еще сказала, что она из всех самая умная и потому любит бегать сама по себе, что у нее, дескать, глубокие мысли и всякое такое. Уж я-то знаю, что это за мысли. Знает, подлая, что если одной бегать, тогда деревенские собаки не боятся на нее лаять. И когда они за ней погонятся, тут плохие будут шутки. Мой Жулик за одной такой дурехой полдня по можжевеликам бегал. Чуть до инфаркта не добежался. Так что у Печали у этой характер был почище, чем у немецкого бойца, — любую собаку загоняет.

Окрестили мы всех Сальминных телок, и рассыпались они во все стороны, что твой букет. Ромашка принялась столбы у ворот раскачивать, а кривоногая Печаль — за щенками гоняться. И тут Пансо начал крестить бычков.

Мы с Сальме выводили их поодиночке вперед и рассказывали, что знали, про всякую тварь. Первым мы вывели самого баловного — у него рожи начали пробиваться. Он ходил за Сальме по пятам, крутил головой вроде парня, что зараз двух подружек обхаживает, и был диким голосом. Уж если он кого не влюбит, так сразу подходит, опустив голову, и шишки свои выставляет. Тут летом учителя приезжали из музыкальной школы, так он одного пианиста загнал под навес для сена. Тот провисел, бедняга, полдня на жерди и слезами обливалося — слезть не мог. Уж про него тоже думали — пропал человек без вести.

Я все это рассказывал Пансо. А Сальме стала со мной спорить. Дескать, у этого крикуна и бандита хорошая душа и вообще он молодец и всему стаду голова. И, мол, вообще пианистам этим лучше держаться от бычков подальше, потому как скотина, она понимает, кто ее любит, а кто нет, и на всякие дипломы ей наплевать.

Отошел Пансо от этого бычка на пять шагов, простер свою правую руку, нацелился в бычка пальцем, словно револьвером, и сказал:

— Назовем тебя Маршалом!

И Сальме записала в тетраточку: Маршал.

Вывели мы второго. Этот был еще хуже Марша-

ла. Скотина воды боится, а этот ни черта не боялся — заходил в море так далеко, что одна голова торчала. Я все это Пансо рассказывал. А Сальме опять давай спорить. Дескать, кое-какие рыбки, которые и на воде-то держаться не могут, могли бы взять пример с этого рыжего тюленя. Дескать, это не бычок, а чудо природы, раз он плавать научился. К тому же и сердце у него доброе, и нрав веселый, и всякое такое.

Вытягивает Пансо опять свою правую руку, нацеливается в бычка и говорит:

— Раз ты воды не боишься, дадим тебе имя Адмирал!

И Сальме записала в тетраточку: Адмирал.

Выводим мы третьего — тоже совсем мальчишка. Этот художников допек, которые в можжевелинке палатку свою разбили. Забрался к ним в палатку, когда они купались, и умял трехдневный запас провианту. Потом поддел одним рогом бакелитовое ведерко с крупой, а другим — картинку, на какой поле клевера было нарисовано. И чуть не весь день бегал в таком виде по деревне: на одном роге — картина, на другом — ведерко, розовое, что твоя шляпка. Только Сальме сказала, что художники эти были нукудышные, а бычок в тот раз здорово проголодался.

Думал Пансо, думал и наконец сказал: — Назовем тебя Энтузиазмом. Сальме обрадовалась и записала в свою тетраточку: Энтузиазм.

Один бычок был с опухшим глазом — бодался, вот и получил в бровь. Этого Пансо назвал Нельсоном. Так одного одноглазого пирата звали.

Потом мы вывели самого крошечного. Я и говорю, что ростом он невелик, но без конца с большими задирается, и отделивают его не хуже того Сасся, у которого по всем праздникам брови на затылке, а нос на боку. Этому Сассю без выволочки и праздник не в праздник. И бычок этот из той же породы. А Сальме опять свое: мол, просто этого бычка никто не понимает, мол, когда он всадит кому свои рога меж ребер, так это он нежности и понимания ищет и просто не умеет по-другому свои чувства выразить.

А бычок-то сам не большие кисета. Подошел к нему Пансо поближе, выставил прежним манером свой палец и сказал: — За твой мужественный характер назовем тебя Смелычаком! — Тут бычок опустил голову, копнул землю и пошел на Пансо. Ну, Пансо не растерялся — молнией через каменную ограду махнул.

И тут дошла очередь до главного пакостника, которого сперва назвали Тымму. Стервец этот лаял не хуже кошки — через ограду в человеческий рост перебирался. А сам с такой постной рожей, как наша Элла. У той тоже лицо сияет не хуже, чем у Монсея. Сложит она руки на животе, подожмет губы, будто у нее моток шерсти во рту застрял, вздохнет раз, вздохнет другой, вздохнет третий, потом зажмурится и скажет умирающим голосом: «Не иначе, как эта девка ребенка ждет!»

Тымму этот всегда в хвосте за всеми плелся. Опустит голову и приглядывается, в каком месте

ограда пониже. Только Сальме в сторону отвернется, как он прыгнет через ограду и — на чей-нибудь огород. На индивидуальный участок. На колючный его и прутом не загонишь. А на индивидуальных навозу не жалеют — там и свекла крупнее, и ячмень по грудь. Понимал стервец!

Сальме его тоже давай защищать: мол, это он у людей перенял, подглядел, как они через ограду скачут, когда фургон с водкой приезжает. Тогда им и старость, и ревматизм не помеха. Дескать, людям никакой забор не помешает, если есть за ним чего хорошенькое. У Сальме всегда выйдет, что скотина права, а ты виноватый.

Нацелился Пансо в Тымму и сказал: «За то, что твой прыжок выделяет тебя из этой серой массы, назовем тебя Балет!». И Сальме записала в тетраточку: Балет.

Под конец осталось два бычка. До сих пор не пойму, почему их потихоньку не отправили на иные луга, как пишется в книжках. Поделом было бы. Только ради Сальме этих разбойников и оставили в живых: одно название, что бычки, а на самом деле — черт знает что. Заводилой был тот, что побольше, рогатый. Каждый божий день, когда рыбки сети выбирали и для просушки на берегу растягивали, они непременно в сети забирались. Рыбаки их, как чумы, боялись: каждый раз сети резать приходилось. Цирк, да и только. Заберутся оба в мережи, рогатый уткнется в ячею, а который поменьше мычит жалобным таким голосом: «Мууу!» Рогатый на низких регистрах партию баса выводит, а Сальме стоит рядом с мережей и морковку им сует, чтоб они не скучали.

Что будешь делать? Бери нож, режь сети, а потом сшивай. Такие были вредные оба. Я все Пансо рассказывал, ничего не скрыл. А Сальме говорит, будто я их души понять не могу, будто у рогатого у этого, у заводилой, очень живое воображение и просто ему хочется узнать, каково бывает рыбе в сетях. Будто он любит вообразить себя, — так она и сказала, в точности, — вообразить себя лососем, или тюленем, или щукой.

Тут Пансо сразу свою черную книжечку схватил. Сальме ему говорит, что дети, когда играют, тоже любят воображать, будто они председатели колхоза, или продавцы, или шоферы, или машины, или пароходы, или пароходные гудки. И, дескать, у скотины тоже свои мыслишки бывают.

Я прямо так и закипел — ведь я уже два раза из-за этих бычков сети резал. Я говорю Сальме: — Ладно, пускай этот рогатый чего-то о себе воображает и залезает в мережи, где ему совсем не место, но маленький-то чего за ним лезет, он-то чего воображает? И что же она мне говорит? Что это он по доброте и добродушию. Что он ничего такого не воображает, но за компанию с большими готов на все. Что у малыша у этого самое сильное из всех его душевных чувств — братская любовь. Вот как Сальме этих бандитов понимает.

Пансо думал долго-долго, потом нацелил палец в рогатого и сказал: — У него изрядные достоинства. Он умеет вообразить себя не тем, кто он

есть, и отлично вживается в роль. — Только я скажу так, что хоть бычок этот и умел забираться в сети, выбираться из них он не мог.

А уж если ты мастер вживаться, умей и выкидываться. Но Пансо сказал: — За эти свои достоинства и всякое такое назовем тебя Мечтатель. — И Сальме записала в тетраточку: Мечтатель.

Потом Пансо нацелился на меньшего: — Братской любви в нем нет. Воображения — тоже никакого. Куда другие — туда и он. Характер отсутствует. Назовем его Балдой или Обезьянкой.

Господи помилуй, как тут Сальме раскричалась! Тогда Пансо взял свои слова назад и назвал эту балду, эту обезьяну, что всякую пакость принимала, Верным. Это имя Сальме и записала в тетраточку.

Ночь была — красота. Звезды на небе светились крошечные, как чешуйки язя. И пока Пансо сидел возле поля на сером камне с васильком на груди и с птичьей песней над головой, пока он думал о пропавших без вести, мне все эти телячьи крестины ясно-ясно вспомнились. Тут я ему и говорю: — Вольдемар! — так в точности и сказал: — Вольдемар, не мучай ты свою голову этими без вести пропавшими. Лучше подумал бы о бычках, которым ты такие красивые имена надел, подумал бы, как тебе это поставить.

Так я его разудил, что он чуть с камня своего не скочивнулся. И опять задумался. Будто у него воз бревен среди моря перевернулся. Долго свой череп тер. Потер и говорит: — Понимаешь, Эрнст, я потерял ясность. Бычки эти, их характеры раздвоились в моем мозгу, — он так и сказал: раздвоились. — У всех появилось второе «я» — такая уж в эстонской литературе мода. Мне кажется, — в точности его слова, — мне кажется, что все эти бычки стали двухголовыми. В одной голове добрые мысли, которые вложила Сальме, а в другой — дурные, которые вложил ты, Эрнст. В каждом бычке два бычка, и оба бодаются, стуча рогами. Ни об одном, — говорит, — нет у меня ясного понятия, если не считать того бычка, который забодать меня хотел. Это плохой бычок. Но что до других, так истина где-то посередине между тобой и Сальме, но где, я еще не вижу.

И тут как засмеется и говорит: — Тебя, Эрнст, и Сальме я на сцене представляю. Вас я поставил бы на сцене, а бычки были бы фоном. — Так в точности и сказал: нас бы поставил, а бычки — фоном.

Потом мы пошли, и я рассказал Пансо про душу окуня. А он опять спрашивает: как это поставить, и тогда я пообещал взять его утром в море и спустить возле мыса Суурна в воду. Там глубины четыре сажени — пускай поглядит, как там внизу и что, а когда наглядится, крикнет. — Нет, Эрнст, — говорит Пансо, — это не пойдет, — ты, Эрнст, большой хитрец.

А я просто не хотел, чтобы он Сальме давал роль и бычков вместо фона.

Авторизованный перевод с эстонского
Леона ТООМА